

**Владимир  
РЯПОЛОВ**

*г. Воронеж*

# «НЕ- СЧАСТ- НЕНЬ- КИЕ»



**М**илосердие к сиротам, старикам, инвалидам, больным, погорельцам, нищим является делом обычным и как бы понятным всем, но только для русских было характерно особое милосердие, милосердие к преступникам, которых издревле называли «несчастненькими». Смотрели на них с жалостью и мыслями, «а вдруг завтра на его месте окажусь я», а потому считали, что к ним надо относиться милостиво, чтобы завтра и от тебя Господь не отвернулся и помог руками людей посторонних, случайных выжить. Ведь недаром на Руси существует поговорка: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Такое милосердие Ф.М. Достоевский считал чисто русской скрытой идеей.

Самым ярким подтверждением этому милосердию является небольшой эпизод любимого всеми фильма «Женитьба Бальзаминова», снятого по пьесам А.Н. Островского, где маменька Миши, проходя мимо тюремных зарешеченных окон, подает в протянутые руки баранки, только что купленные домой к чаю, при этом крестя невольников. И делает это она настолько просто и обыденно, будто занимается этим ежедневно. При этом стоящий на часах солдат даже не делает попыток

отогнать подающих милостыню. И это действительно так и было. Этот маленький, вроде бы незаметный на фоне всего фильма штришок был сделан режиссером не для антуража, он был как бы жирным мазком, подчеркивающим эпоху. В подтверждение тому известный московский журналист и репортер начала XX века Владимир Алексеевич Гиляровский в одном из своих очерков, посвященных булочникам, писал: «Огромные куши наживали булочники перед праздниками, продавая лежалый товар за полную стоимость по благотворительным заказам для подаяния заключенным.»

Испокон веков был обычай на большие праздники – Рождество, Крещение, Пасху, Масленицу, а также в «дни поминовения усопших», в «родительские субботы» посылать в тюрьмы подаяния арестованным, или, как говорили тогда, «несчастненьким». <...> Главным жертвователем было купечество, считавшее необходимостью для спасения душ своих жертвовать «несчастненьким» пропитание, чтобы они в своих молитвах поминали жертвователя, свято веруя, что молитвы заключенных скорее достигают своей цели.

Еще ярче это выражалось у старообрядцев,

которые по своему закону обязаны оказывать помощь всем пострадавшим от антихриста, а такими пострадавшими они считали «в темницу ввержены»[1]. И это было нормой, сутью русского православного человека, характерной только для него.

Многие русские писатели строчкой или двумя иногда касались этой темы, хотя, по правде сказать, популярной она никогда не была, на что сетовал еще в 1890 году Антон Павлович Чехов, совершая свое известное путешествие по Сибири на Сахалин в своей известной книге «Из Сибири. Остров Сахалин»: «Взгляните-ка вы на нашу литературу по части тюрьмы и ссылки: что за нищенство! Две-три статейки, два-три имени, а там хоть шаром покати, точно в России нет ни тюрьмы, ни ссылки, ни каторги. Уже 20-30 лет наша мыслящая интеллигенция повторяет фразу, что всякий преступник составляет продукт общества, но как она равнодушна к этому продукту»[2].

Не обошел этой темы и Ф.М. Достоевский. В отличие от многих писателей, он прошелся по ней не вскользь, касаясь верхушек, а постарался, что для него характерно, углубиться, понять основы такого, казалось бы, странного милосердия. В своем известном «Дневнике писателя» по этому поводу Федор Михайлович размышлял: «Есть идеи немыслимые, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые, таких идей много, как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, – до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих скрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей – идей русского народа – и принадлежит название преступления несчастьем, а преступников – несчастными. Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. <...> Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников». И как бы поясняя суть этой идеи, писатель продолжает: «Короче этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастливым»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте – может, и хуже бы сделали. Будь мы

получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, а мы об вас помолимся. А пока берите, «несчастные», гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей». <...> Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от его непрерывного покаяния и самосовершенствования»[3].

Единого мнения к облику преступника наша литература не оставила. Зачастую под ним виделось что-то дикое, злое, несущее с собой смерть и насилие. Иные писатели своим творчеством как бы подтверждали этот тезис. Так, Н.А. Некрасов в поэме «Русские женщины», говоря словами губернатора о Нерчинской каторге в Забайкалье, написал:

*Там люди редки без клейма, и те душой черствы;  
На воле рыскают кругом там только варнаки;  
Ужасен там тюремный дом, глубоко рудники...  
Пять тысяч каторжников там, озлоблены судьбой,  
Заводят драки по ночам, убийства и разбой...[4].*

Или, например, «твердый в вере Христовой Филька Шкворень» в романе В.Я. Шишкова «Угрюм-река», «встав, как крокодил, на четыре лапы», заявлял: «Кто, я? Бывало дело, ел. Человечинка сладкая, как сахар». Все сплюнули»[5].

Но даже к таким, как Филька Шкворень, народ не терял своего милосердия.

Федор Михайлович писал про отношение народа к преступнику: «Что, назовет его народ «несчастливым»? Может, и назовет; без сомнения, назовет; народ жалостлив; да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал считать себя за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастливым», не переставал считать его за преступника! И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет преступления!»[6].

**Кто же были эти «несчастные»?**

Так, Николай Аполлонович Байков, служивший в 1910-е годы офицером охраны на Китайско-Восточной железной дороге в Маньчжурии, где во время многодневных путешествий в качестве промысловика по глухим таежным местам невольно сталкивался с беглым человеком и составил о нем свое собственное мнение, писал, что обычно контингент каторжан комплектовался из крестьян и рабочих Центральных губерний России. Значительный процент представляли жители Кавказа, отбывавшие каторгу за убийство по адату кровной мести. В большинстве своем эти «несчастные», как их называли в России, не были уголовниками в прямом смысле этого слова, а являлись жертвами темперамента, суеверий, нравственной неустойчивости, а иногда и юридических ошибок. Были среди них и преступные типы, но они рано или поздно погибали из-за своих преступных наклонностей.

Как бы подтверждая истинность слов Байкова, Владимир Галактионович Короленко в рассказе «Соколинец», рассказывая о судьбе беглого каторжника с острова Сахалина, написал: «Сибирь приучает видеть и в убийце человека» [7]. При этом что интересно, русский люд, ненавидя и презирая в своей душе человека, грабившего по ночам на большой дороге случайных прохожих или проезжих, признавал «несчастливым» еще вчерашнего разбойника, как только он оказывался в кандалах за решеткой, и готов был поделиться с ним последней краюхой хлеба. В этом, видимо, заключалось русское, православное мировоззрение – быть милостивым к падшему, дать ему возможность покаяния и возрождения, не отсекая его от общества и не глумиться над ним беззащитным.

Так, архимандрит Спиридон (Кисляков; 1875–1930), служивший с 1900 года проповедником и духовником на Нерчинской каторге в Забайкалье, представлявшей собой совокупность тюрем и заводов, и оставивший нам в наследство свои дневники, выходящие отдельными книгами, начиная свои проповеди перед каторжанами, отбывавшими срок на Нерчинской каторге, считая их в душе «несчастливыми», обращался к ним: «Достолюбезные узники» или «Возлюбленные мои». Он же, как бы определяя типичный состав преступлений, совершенных узниками, в своих дневниках описал памятные ему встречи, озаглавив их: «Семинарист-убийца», «Инженер-святоотатец», «Одессит-разбойник»,

«Красавец-клептоман», «Священник-казнокрад», «Юный террорист» и др. [8]. Это говорило о том, что стать «несчастливым» можно было практически за любое преступление.

«Несчастливым» человек оставался не только в темнице, но и в пути следования на каторгу в Забайкалье или на Сахалин по известной всем в те времена дороге, как говорили, «омытой слезами» и называемой «Владимирка». Известный в России оперный тенор и в то же время мемуарист Павел Иванович Богатырев (1849–1908) в своих воспоминаниях, посвященных Москве второй половины XIX века, указывал, что свое начало Владимирская дорога брала от Рогожской заставы. «Тракт, ведущий из Москвы через Рогожскую заставу, – очень интересный тракт. Вся Владимирка полита горькими, жгучими слезами: по ней прошел в далекую Сибирь на каторгу, звеня цепями, не один десяток тысяч «несчастливых», как величает народ преступников. Как надрывалось сердце и скорбела душа у многих, навеки покидавших свою родину, свой милый край, близких и дорогих людей! В одной песне поется:

*Разлучает нас неволя,  
Чужа-дальня сторонка,  
Что Владимирка дорожка...*

Раздавалась на этой дорожке известная в арестантском мире так называемая «милосердная» песня. Грустная и тяжелая эта песня. Кажется, она теперь забыта уже совсем...» [9]. И как бы продолжая, он пишет, что «несчастливыми» в пути становились не только кандалные, но и их семьи с бабами и детьми, следующими за своими мужьями в далекую, неизвестную Сибирь: «У самой заставы была, конечно, невообразимая давка. Здесь, около заставы, был и этап, где останавливались для отдыха и проверки идущие в Сибирь арестанты. Сколько горьких слез пролито в этом «желтом» мрачном доме и около него! Каждый понедельник или вторник выводили отсюда арестантов и выстраивали их. Впереди каторжные в кандалах, ножных и ручных, далее в одних ручных, а там и просто без кандалов, а за ними возы с бабами – женами, ехавшими за мужьями, детьми и больными. Лязг цепей, звяканье ружей конвойных, плач матерей, жен и близких родных ссылаемых – все это представляло такую душу надрывающую картину, что жутко становилось и больно-больно ныло сердце» [10]. Автор тысячу раз был прав, и действительно, глядя на эту карти-

ну с болью в сердце, нельзя было не назвать всех их «несчастливыми».

Конечно, никакой жалости к осужденным во время конвоирования и отбывания наказания на Сахалине или в Нерчинске ни солдаты, ни тюремная администрация не испытывали. Они выполняли свой служебный долг, как того требовали устав и регламентирующие документы.

Бывали и побеги с каторги. На том, как к этому готовились каторжане и как это происходило, останавливаться не будем, это тема для другого рассказа. Скажу, что с Сахалина побег осуществлялся путем переправы через Татарский пролив в самом узком его месте, на чем придется. Иногда это были и связка бревен, найденных на берегу, или просто доска, или украденная у местных сахалинских аборигенов лодочка. Бывало, что течением человека уносило в Охотское или Японское море и он исчезал навсегда. Но это в том случае, если каторжник мечтал вернуться домой и хотел хоть одним глазом взглянуть на своих родных. Бывало, что человек просто мечтал побыть на воле хоть несколько дней, а затем опять вернуться в тюрьму. По этому поводу В.А.Гиляровский в рассказе «Беглый» писал: «И манит тайга человека бывалого, неудержимо манит из душной тюрьмы на вольный простор. Рискует старый бродяга попасть под плети, под меткую пулю часового, а все-таки рвется хоть денек послушать кукушку в тайге, поплакать с ней, как и он, бездомной, и умереть, отощав с голоду, или опять вернуться в тюрьму, обновленным таежной волей, до следующей весны, до следующих надежд на побег»[11].

Перебравшись на материк, беглые шли, как тогда говорили – в Россию, не в одиночку, что было тяжело и опасно, а сбивались в ватаги. Так, герой рассказа В.Г. Короленко «Соколинец» говорил: «Вдвоем али втроем нечего и идти, – дорога трудная. Наберется человек десять – и ладно»[12]. Возглавлял ватагу старый бродяга, имевший несколько побегов и знавший все «варнацкие» тропы. Держала свой путь ватага на Байкал, который представлял собой не меньшее препятствие, чем Татарский пролив.

Здесь мы опять сталкиваемся с милосердием русского человека. Казалось бы, само понятие «беглый каторжник» должно было приводить человека в ужас от ожидания неминуемой гибели при встрече с ним. Однако отнюдь нет. Так, А.П.Чехов в своей книге очерков «Из Сибири. Остров Сахалин» рассказывал: «Те же, кому уда-

валось переплыть пролив и добраться до материка около устья Амура, собирались в артели по 4-6 человек и шли на запад по известным «варнацким тропам» к Байкалу. У Амура меньше было опасности погибнуть от голода и мороза. Там было много гиляцких деревушек, города Николаев, Софийск, Мариинск, казачьи станицы, где на зиму можно было наняться в работники и где даже чиновники давали беглым приют и кусок хлеба»[13]. То есть опять сострадание и отношение к бродягам как к «несчастливым». Подтверждает эти слова и автор «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль. Рассказывая о понятии «Варнак», он, в частности, поведал, что существовало такое понятие: «Положить варнакам краюху, т.е., уходя на летние работы, пермяки клали на окно хлеб для сибирских бродяг»[14].

Добравшись до Байкала, бродяга сталкивался с новым препятствием. Как писал в своей книге очерков «В дебрях Маньчжурии. Очерки и рассказы из быта обитателей тайги» Н.А. Байков: «Перебраться через Байкал считалось вторым крупным шагом после Татарского пролива. Мало кто решался обойти Байкал с юга или севера, т.к. там их ждала почти верная смерть от пули кордонного стражника или туземного охотника. Последний охотился на беглого как на зверя, чтобы попользоваться лохмотьями его одежды и обуви или запасами хлеба, полученного от сердобольных жителей попутных деревень, снабжавших «несчастненьких» одеждой и кое-каким продовольствием. Охота на беглых здесь называлась «охотой на горбачей», т.к. варнаки несли свои пожитки в мешках за спину»[15]. Иногда беглым удавалось раздобыть себе ружья у бродячих инородцев, но это доставалось всегда ценой человеческих жизней. Оружие давало возможность варнаку существовать охотой на крупного зверя и не бояться встречи с вооруженным туземцем. Безоружный туземец опасности для беглого не представлял. По этому поводу Короленко о жителях Сахалина гиляках писал: «Да и где же гиляку с русским человеком силой равняться? Русский человек – хлебной, а он рыбу одну жрет. С рыбы-то много ли он силы наест? Куда им!»[16]. Что касается бродяг и Байкала, то русский человек создал в своем творчестве немалое количество песен, посвященных этой теме. Все они полны грусти и сострадания к «несчастливым». Самая известная, наверное, из них:

*По диким степям Забайкалья,  
Где золото роют в горах,  
Бродяга, судьбу проклиная,  
Ташился с сумой на плечах.  
Идет он густою тайгою,  
Где пташки одни лишь поют,  
Котел его сбоку тревожит,  
Сухие коты ноги бьют.  
На нем рубашонка худая  
Со множеством разных заплат,  
Шапчонка на нем арестанта  
И серый тюремный халат.  
Бежал из тюрьмы темной ночью,  
В тюрьме он за правду страдал –  
Идти дальше нет больше мочи,  
Пред ним расстился Байкал.  
Бродяга к Байкалу подходит,  
Рыбацкую лодку берет  
И грустную песню заводит –  
Про родину что-то поет...*

В конечном результате после скитаний по тайге беглому иногда удавалось достичь родины, о которой он мечтал и молил: «Пошли, Боже, нужду, болезни, слепоту, немоту и срам от людей, но только приведи помереть дома»[17]. Он попадал к себе домой, виделся с родными, но существовавшее положение делало его жизнь невыносимой. Ответственности могли подвергнуться родственники за укрывательство беглого, и ему ничего не оставалось, как снова бежать куда глаза глядят или сдаваться полиции. Такие добровольцы обыкновенно ссылались опять в Сибирь на поселение и жили там до нового побега. Были и такие, которые предпочитали вести бродяжническую жизнь в тайге, превращаясь в закоренелых варнаков-таежников.

Еще одной причиной побегов была пожизненность наказания. Закон сопрягал каторжные работы с поселением в Сибири навсегда. А.П. Чехов писал, что приговоренный к каторге удалялся из нормальной человеческой среды без надежды когда-либо вернуться назад. Каторжные так и говорили про себя: «Мертвые с погоста не возвращаются»[18]. Здесь же писатель добавлял: «В нашем русском законодательстве, действительно гуманном, высшие наказания, и уголовные, и исправительные, почти все пожизненны. Каторжные работы непременно сопряжены с поселением навсегда; ссылка на поселение страшна именно своей пожизненностью; приговоренный к арестантским ротам, по отбытии наказания, если общество не соглашается принять его в свою среду, ссылается в

Сибирь; лишение прав во всех случаях носит пожизненный характер и т.д.»[19].

Поэтому для людей, ушедших по «Владимирке» в Сибирь, это была дорога без всякой надежды в один конец, по которой назад они уже никогда не возвращались, что действительно делало их «несчастными» и достойными жалости и сострадания.

У бежавших с каторги существовал свой неписанный «кодекс чести», который ими никогда не нарушался, хотя, конечно, были и исключения. О старых бродягах вспоминали словами: «Хороший бродяга был, честных правил, хотя и незадачливый»[20].

Н.А. Байкову во время промысла самому приходилось встречаться с варнаками в маньчжурской тайге. Эти встречи он описывал так: «При встрече с беглыми в тайге мне приходилось проводить с ними более или менее продолжительное время, причем отношения между нами всегда были прекрасные, и они никогда не позволяли себе ничего предосудительного. Держали они себя с большим достоинством, были предупредительны и вежливы. Это нельзя объяснить боязнью перед людьми хорошо вооруженными, но своеобразной этикой и традициями.

Особенно памяты для меня были темные таежные ночи у костра, когда группа лесных бродяг, сибирских варнаков, во главе с каким-нибудь седовласым старцем, ветераном сахалинской каторги, затягивала свои печальные, заунывные песни. <...> Каждую песнь начинал «запевало», обладавший сильным, красивым тенором; он исполнял первую фразу песни, которую подхватывал весь хор, состоявший преимущественно из басов, в конце каждой строфы тенора повторяли последнюю фразу, в виде припева. <...> В настоящее время песни эти забываются, и народная память утрачивает их первоначальную чистоту. Слышать их можно только в самых глухих уголках Сибири от старых каторжан, уцелевших в водовороте житейского моря»[21].

Конечно, все эти традиции и все это отношение к преступникам как к «несчастеньким» исчезло в первые тридцать лет советской власти, когда, казалось бы, вечные христианские ценности в виде сострадания к ближнему были растоптаны, а вчерашние «несчастные» превратились во «врагов народа», не то что помощь которым, а даже и само знакомство могло сулить человеку немалые личные неприятности, вынуждая отречься и от друзей, и от знакомых.

**Примечания**

[1] Гиляровский В.А. Булочники и парикмахеры / В.А. Гиляровский // Москва и москвичи. – М.: Московский рабочий, 1959. С.147.

[2] Чехов А.П. Из Сибири. Остров Сахалин. – М.: «Правда», 1985. С. 39.

[3] Достоевский Ф.М. Дневник писателя / Ф.М. Достоевский // Собрание сочинений: в 9 т. Т.9. В 2 кн. Кн.1. М.: Астрель: АСТ, 2007. С. 32-33.

[4] Некрасов Н.А. Русские женщины / Н.А. Некрасов. Стихотворения и поэмы. М.: «Советская Россия», 1984. С. 144.

[5] Шишков В.Я. Угрюм-река. Том первый. М.: «Художественная литература», 1954. С.423, 449.

[6] Достоевский Ф.М. Дневник писателя. С.33-34.

[7] Короленко В.Г. Соколинец / В.Г. Короленко. Повести и рассказы в двух томах. Т.1. М.: Издательство «Художественная литература», 1966. С. 166.

[8] Спиридон (Кисляков), архимандрит. Нерчинская каторга. Земной ад глазами проповедника. М.: Эксмо, 2019. С. 5, 19, 142.

[9] Богатырев П.И. Московская старина // Московская старина: Воспоминания москвичей прошлого столетия. М.: «Правда», 1989. С. 141.

[10] Там же. С. 137.

[11] Гиляровский В.А. Беглый / В.А. Гиляровский. Трущобные люди: Рассказы, очерки, мемуары. М.: Эксмо, 2007. С. 369-370.

[12] Короленко В.Г. Соколинец. С. 178.

[13] Чехов А.П. Из Сибири. Остров Сахалин. С. 354.

[14] Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 408-й столбец.

[15] Байков Н.А. В дебрях Маньчжурии. Очерки и рассказы из быта обитателей тайги. Харбин: Типо-Хромо-Литография и Издательство «Офсет-Пресс» Р.М. Бурсун. 1934. С. 59.

[16] Короленко В.Г. С. 188-189.

[17] Чехов А.П. Из Сибири. Остров Сахалин. С. 347.

[18] Чехов А.П. Из Сибири. Остров Сахалин. С. 348.

[19] Чехов А.П. Из Сибири. Остров Сахалин. С. 38.

[20] Короленко В.Г. Соколинец. С. 195.

[21] Байков Н.А. В дебрях Маньчжурии. С. 61.

□

***Владимир Николаевич РЯПОЛОВ***

*родился в городе Воронеже.*

*Окончил исторический факультет местного университета.*

*Сейчас работает реставратором старых книг.*

*Имеет более сотни публикаций в научных журналах*

*и альманахах «Сибирь», «Подъем», «Александрь»,*

*«Охотничьи просторы», «Врата Сибири» и др.*

*Является соавтором трех книг:*

*«Глас старины, ты сердцу дорог»,*

*«Храмы, часовни и приделы церквей России и зарубежья,*

*освященные во имя Святител Митрофана Воронежского*

*и «Уста, смиренные молчаньем...».*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

